ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПРЕМИЯ
RENAUDOT
18+
ГАЭЛЬ ФАЙ
ЖАКАРАНДА
РОМАН
ph

Гаэль Фай
Жакаранда

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74282051
ISBN 978-5-907943-22-3

Аннотация

Милан никогда не бывал в Руанде, он обычный французский подросток, не знающий почти ничего о стране, откуда родом его мать, и о тех ужасах, от которых она бежала. Но однажды на пороге их дома появляется мальчик, голову которого пересекает страшный рубец. С этого дня жизнь Милана изменится, как и сам он, – Милан начнет непростой, долгий и запутанный путь к своим корням, к своей семье. И символом этой дороги станет старое дерево – прекрасная жакаранда, видевшая все то, что люди попытались забыть. В своем романе Гаэль Фай рассказывает историю четырех поколений, разворачивая перед читателем трагическую картину прошлого страны, которая, несмотря ни на что, стремится к диалогу и прощению. Это роман о том, что порой память – боль, а порой – путь к исцелению. И воплощение памяти – жакаранда, символ укорененности и одновременно хрупкости.

Содержание

1994 7
1998 34
Конец ознакомительного фрагмента. 64

Гаэль Фай
Жакаранда

© Тимофей Петухов, перевод, 2026
© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2026
© “Фантом Пресс”, издание, 2026

Gaël Faye, Jacaranda
Copyright c éditions Grasset & Fasquelle, 2024

* * *

Автор благодарит Катрин Набоков за помощь в издании книги

* * *

Посвящается Умугванезе, Исимби и Икирези

Стелла бросилась в сад. И видела, как они повалили её на землю. Её подругу, всё её детство, её вселенную. Грязные, лоснящиеся от пота, довольные собой мужчины с мачете в руках. Она в ужасе вскрикнула и, прижав к животу ладонь, упала на колени в траву, лицо у неё пылало.

С того самого дня Стелла в психиатрической клинике.

В больничном коридоре врач беседует с её матерью. Заговаривает о посттравматическом синдроме. Мать нервно смеётся: "О чём вы, доктор, эта девочка в жизни не знала горя и ни в чём не нуждалась!" Врач спрашивает, не из уцелевших ли Стелла. Но, не успев договорить, видит в анкете дату рождения. Ей двадцать один. Мать рассыпается смехом – Стелла всегда любила этот смех, чистый, заливистый. Наконец она берёт себя в руки, чтобы не смущать врача, и спокойно подтверждает: да, дочь родилась после трагедии.

Все последующие ночи Стелла подолгу лежит без сна. Здание больницы пронизывают стоны, бесконечные всхлипы и вскрики. Из соседней палаты доносится тревожное шевеление. Что-то скребётся. Скрипит. Скрежещет. Наутро медсестра, давая ей лекарство, рассказывает, что там уже много лет лежит мужчина неопределённого возраста. Днём он сидит на стуле, уставившись в окно. А ночью ползает по полу, хватаясь за стены палаты. Стелла не спит: тревога возвращается – живая, острая. Она разглядывает в темноте потолок, следит за быстрыми перебежками гекконов и прислушивается к шорохам ползущего вдоль стен человека-таракана. Больница – ночной корабль, вылавливающий из пучины людей – сгоревших в попытках отстроить страну, выжатых давлением семьи, измученных требованиями общества, дезертиров из великой человеческой комедии. Но главное, она даёт приют этим онемевшим теням,

словно извиняющимся, что они ещё живы, блуждающим во мраке неупокоенным душам, людям-скорлупкам, внутри которых – неисцелимые страдания и кошмары.

Врач снова задаёт вопросы. Он хочет разговорить её, понять, чем вызвано её состояние. Ответить она не решается. Она – часть истории, а история научила её глотать свои чувства, чтобы слёзы оседали глубоко внутри. Врач настаивает, Стелла замыкается в себе. Сердце – тайна. Как признаться этому мужчине, что всё дело в дереве? Её дереве.

В её друге, её детстве, её вселенной.

В её жакаранде.

1994

1

Война! Не знаю, зачем я ответил “Война”, когда Софи, наша староста, готовясь защищать меня перед учительским советом, спросила, что же такого случилось, почему я так ужасно закончил триместр. Она переспросила: “Война?” Я повторил: “Да, война”. Уж точно я не собирался признаваться, что просто забил на всё, что я раздолбай, целыми днями витаю в облаках и слушаю рок. Надо было найти убедительное, непроверяемое объяснение, которое разжалобит учителей на совете. Я мог бы придумать тяжёлую болезнь – рак или сердечную недостаточность, – но нужна была справка от врача; или мог сказать, что родители недавно развелись, но такое у половины учеников, что не мешает им получать нормальные оценки. Поэтому, недолго думая, я заявил, что всё из-за войны на родине матери. Я и сам не понимал, как такое пришло мне в голову! Но чем больше я размышлял, тем убедительнее мне казалась моя ложь. В новостях уже которую неделю твердили про этот конфликт, на фоне жутких кадров, которые потом было не развидеть. И хотя всё происходило где-то далеко, в неведомой стране, все в целом понимали, о

чём речь. Я разошёлся и добавлял подробностей: ужасы войны, горе матери, кошмары отца и как мне трудно спокойно сосредоточиться на учёбе. Я знал, что моя ложь работает, потому что Софи слушала меня со слезами на глазах. На совете она так хорошо выступила в мою защиту, с чувством повторив мои доводы, что учителя, глубоко растроганные, согласились пока не решать мою судьбу.

Я и представить не мог, что они пригласят в школу родителей. Я попался в собственную ловушку. Сидел, потупившись, между отцом и матерью и, пока директор зачитывал вслух пересказ старосты, не отрывал взгляд от своей ноги, отчаянно дергавшейся под столом. Когда мы вышли, отец устроил мне взбучку прямо на школьном дворе, на глазах у смеющихся одноклассников. Но куда труднее было выдержать молчание матери. Неизбывное её молчание. Она просто смотрела на меня несколько бесконечных секунд. И в эти секунды мне захотелось исчезнуть навсегда – столько презрения было в её глазах. Ещё несколько дней она не говорила мне ни слова. Через неделю пришла моя ведомость. В графе для комментариев директор едко приписал: “Когда ложь всплывает, доверие тонет”. Нечего удивляться, что я остался в шестом классе ещё на год.

Той весной Руанда впервые постучалась в нашу жизнь. Мама никогда про неё не говорила. Для неё жизнь началась с 1973 года, когда она приехала во Францию. Она никогда не упоминала родственников, не рассказывала про детство,

у неё не было ни одной фотографии из её юности “там”. Когда я был маленьким, то наверняка спрашивал, из какой она страны и где её родители – мои бабушка с дедушкой, которых я никогда не знал. Не помню, что она отвечала. Дверь в прошлое моей матери была закрыта. К слову, она не слушала руандийскую музыку, не готовила традиционных блюд и не пела мне колыбельных на родном языке. Дома у нас не было ни одной экзотической вещи, никакие знакомые из Руанды не появлялись у нас в гостях. В моём представлении мы были самой обычной французской семьёй. Разумеется, мама не могла скрыть свой цвет кожи, и время от времени настойчивые вопросы, невинные замечания или предвзятые намёки вызывали из небытия далёкую страну, которую она никогда не упоминала и не считала своей. Но она не поддерживала эту тему. Это был просто факт из жизни. Я не помню, чтобы она хоть раз пожаловалась на своё положение или осуждала кого-то за расизм. Особенно поражало, что она говорит без акцента. Узнав, что родилась она не здесь, все удивлялись и хвалили её французский. Единственное, что она изредка путала, это, странным образом, мужской и женский род, или, сильно устав, произносила “р” вместо “л”. Отец утверждал, что ему никогда не было дела до того, что у них разная кожа. “Любви цвета безразличны”, – любил он повторять. Он говорил это с гордостью, заявляя, что не замечает маминого цвета кожи. А так как она упорно молчала о своих корнях, я почти забывал, что она родилась и выросла в другой

стране. Из-за чего я иногда замирал, застав её за телефонным разговором на киньяруанда, в шоке от того, как бегло она изъясняется на этом неведомом языке. С кем она говорит, я не знал. А когда спрашивал, она уклончиво отвечала что-то про "старых знакомых" или "дальних родственников в Брюсселе". Во время таких звонков я подглядывал за ней. В её манерах, интонациях, осанке, в том, как она всплёскивала руками, мне виделась совсем другая женщина, её словно накрывало аурой тайны, что сильно меня будоражило. Когда я наблюдал за этим перевоплощением, меня охватывало мимолётное, но неприятное чувство. Жуткое чувство, что передо мной чужой человек. Что я ничего не знаю о женщине, с которой прожил всю жизнь. О собственной матери.

Руанда вошла в мою жизнь через новости, которые мы неизменно смотрели за ужином. Когда диктор впервые упомянул её, я машинально оглянулся на маму, я был взволнован и почти обрадован, что о её родине наконец говорят в эфире. Она никак не среагировала на меня, поглощённая кадрами, мелькающими на экране. Видя, что мне не сидится спокойно, отец строго глянул на меня. По окончании новостей я ждал, что мама скажет что-нибудь, – напрасно. Эта сцена повторялась почти каждый вечер. Месяцами раскалённые потоки насилия, беженцев и смертей лились нам на тарелки. Перед показом диктор заботливо предупреждал, что некоторые материалы могут шокировать зрителей. И мы, не сводя глаз с экрана, застывали с вилками в руках точно ста-

туи, глядя на это далёкое варварство. Потом опять появлялся диктор с подводкой к следующему репортажу. На мгновение воцарялась тишина, а затем всё снова шло своим чередом: отец подливал себе вина, мать тщательно перчила пюре, а я пытался разрезать стейк и отогнать от себя только что летевшие на меня с экрана жуткие сцены. Зрительский шок у нас в семье заедался большим куском молчания. И каждый раз у меня ужасно крутило живот.

Я и сейчас вижу, как часами лежу, свернувшись клубком на кровати: лоб в поту, руки давят на горящие внутренности в попытках унять боль; вижу, как вечером в своей комнате разглядываю зыбкую тень на стене, и эта тень меняет очертания, вздрагивает, преображается, а потом исчезает по мере того, как солнце садится и приходит ночь; вижу, как долгие часы не делаю ничего, необъяснимо чувствуя, что нужно ждать, что жизнь готовит меня к чему-то, чего я ещё не знаю, и ожидание – терпеливое, долгое, упорное – обратная сторона моего предназначения.

2

Я ждал летних каникул – время блаженного безделья. Каждый год мы ехали на запад, к Атлантическому океану, к его длинным пляжам, в маленький белый домик с пастельно-зелёными ставнями на самом краю острова. Каникулы я проводил с отцом, матерью и родителями отца. У папы не

было ни братьев, ни сестёр, у дедушки тоже – мы были династией единственных сыновей. В то лето мне исполнилось двенадцать, и всю свою жизнь я провёл в окружении взрослых. У деда была парусная лодка, по утрам мы, мужской компанией, выходили на ней ловить макрель и готовиться к регате на день Успения. Вечером все ужинали в саду под кипарисами, взрослые пили прохладное розовое вино, я утолял жажду литрами лимонной газировки. Лёгкий бриз спасал нас от изнуряющего летнего зноя. Праздная деревня журчала пьяным смехом и обрывками разговоров, в садах по соседству звенела посуда, где-то недалеко саксофонист изо всех сил выдувал *My Favorite Things* Джона Колтрейна, а из-за низкой каменной ограды в глубине сада слышались звонки динамо-велосипедов. Когда наступало время кофе, а день ещё засиживался с нами, мне было приятно думать, что по ту сторону пляжа, где на самой западной точке острова высился Китовый маяк, янтарное солнце готовится нырнуть в океан, чтобы разбудить другую половину мира. Ровно в этот час каждое 14 июля мы впятером медленно выдвигались в сторону соляных болот, чтобы посмотреть на праздничный фейерверк – один из редких случаев, когда курортники из местных кемпингов смешивались с зажиточными семьями из деревни.

В тот вечер, несмотря на толпу, мы нашли себе место на больших валунах, и крики детей вокруг нас сливались в возбуждённый радостный гвалт. Бабушка была на взводе – обо-

рачиваясь, она окидывала взглядом толпу, стараясь, чтобы мы заметили её лёгкое раздражение.

– Нет, сколько народу! Вы посмотрите! Прямо вон докуда.

И мы, как семейка сурикатов на посту, одновременно повернули головы. Дедушка философски заметил:

– Ну а что ты хочешь, Женевьева, не жалеть же теперь о временах, когда надо было заезжать с машиной на паром. Мост – значит, больше людей на острове. Так уж работает прогресс.

Бабушка усмехнулась и подхватила шутливо:

– Инженер в отставке защищает своё детище! Мы знаем, дорогой, что ты гордишься этим мостом. Но что ты зовёшь прогрессом? Эти вечные пробки?

У бабушки с дедушкой все разговоры складывались из нежности и взаимного поддразнивания, отчего они походили на озорных, вечно ссорящихся подростков. По контрасту казалось, что у моих родителей всё на удивление гладко. Никто не повышает голос, полное согласие во всём: от моего воспитания до политических взглядов, даже какой канал смотреть вечером, какого цвета купить кресло, во сколько в воскресенье ехать в “Икею” – всё выбиралось единодушно. Если им и случалось в чём-нибудь разойтись, они разрешали противоречия тихо и сдержанно. Словно боясь пробудиться от неглубокого сна, старались не мутить воду и не докучать друг другу. Под маской внешней гармонии их отношения сводились к скуке смертной.

У родителей в тот день был усталый вид, они без конца зевали, с самого утра. Мы приехали накануне, измученные семичасовыми пробками на июльском пекле. По случаю распродаж мать перед отъездом допоздна не закрывала свой магазин одежды, а работавший в банке отец уже третий месяц трудился сверхурочно – из-за повышения, которое, похоже, уже ненавидел. Я же беспокоился – потому что ни бабушка, ни дедушка ещё не расспрашивали, как я закончил год, – и надеялся, что когда это случится, родителей рядом не будет. Но предметом бабушкиного любопытства оказался не я, а мама.

– Скажите, Венансия, ведь это кошмар, что творится в вашей стране. Я сейчас об убийствах. И ещё об этих несчастных, которые пытаются бежать и гибнут по дороге от холеры и тифа. Я всё думала… словом… я думала, как вы со всем этим справляетесь?

Я не верил своим ушам. Бабушка напрямую спрашивала маму про Руанду! Они с дедом никогда этого не делали. Поначалу, когда папа только привёл её знакомиться, они были в шоке. Их сын – и африканка! Они не были расистами, но всё же… иметь темнокожую невестку… Поняв, однако, что у них всё серьёзно и обсуждению не подлежит, они взяли себя в руки и со временем сблизились с моей матерью, полюбили её, как дочь. Но о её жизни до Франции они не расспрашивали – может, из вежливости, но вероятнее, из безразличия. Так что понадобились сотни тысяч погибших, милли-

оны беженцев, несметное множество статей и уйма телерепортажей, чтобы этот простой вопрос наконец родился. Это было неслыханно. Я чувствовал, как сердце забилось быстрее. Как в лихорадке, я ждал, что ответит мама.

– Да, знаете, это ведь не вчера началось. Массовые убийства были и раньше. Это, в общем, давняя история…

– Да-да, могу представить. Но на этот раз всё-таки с таким размахом… То есть я имею в виду… война между этими племенами… Никак не запомню, как их там? Туту и тситси?

– Хуту и тутси, Женевьева! – поправил дед, смущённый бестактностью супруги. – Нам три месяца про них говорят, каждый день. Можно бы уже и запомнить. Хуту и тутси! И потом, это не племена, а народности.

– Ах да, точно, хуту и тутси, – продолжила бабушка как ни в чём не бывало. – И вообще непонятно, кто из них плохиши, а кто хорошие. А вся эта жестокость, такое варварство! Прямо мачете… Женщин, детей… Уму непостижимо…

Было видно, что бабушка волнуется, колеблется, что ей неловко и она не может подобрать слов, чтобы выразить свои чувства по поводу того, что выше её понимания.

– Ах, Венансия, дорогая, простите. Не надо было мне заговаривать об этой трагедии, когда мы все собрались, чтобы расслабиться. Но, честное слово, я теперь постоянно думаю о вас, из-за всех этих жутких новостей, которые долетают с вашей родины. Слава богу, что у вас не осталось там родственников, насколько я помню.

– Нет-нет, у меня остались родственники, – спокойно ответила мама.

Бабушка, кажется, стушевалась, будто сказала бестактность. Она отвела взгляд. Я был поражён тем, что у мамы, оказывается, есть родные в Руанде, и тем, что она ничего больше не прибавляет.

– Мама, давай сегодня не будем приставать с этим к Венансии, – вмешался отец.

– Филипп прав, – поддержал дед, как бы закрывая тему. И тут же повернулся ко мне: – Ну а у тебя, Милан, как дела в школе, чем год закончился?

Внутри у меня всё сжалось, и я почувствовал, что родители тоже напряглись. К счастью, грянула музыка, раздались первые залпы, и я чудом спасся. Мы замолчали, заворожённые зрелищем. Мелодия звучала всё громче, от взрывов закладывало уши, толпа встречала пиротехническую лавину радостными криками. Запах пороха мешался с запахами ила и йода, разноцветные вспышки, постоянно меняющие форму и яркость, озаряли соляные болота. Во время финального залпа отец заметил на противоположном берегу огонь. Искры упали в сухую траву, и занялся пожар. По мере того как ветер с суши крепчал, огонь становился всё прожорливее. Как только приехали экстренные службы, курортников спешно эвакуировали.

Той же ночью я проснулся от едкого запаха дыма и криков пожарных совсем рядом с домом – за низкой садовой

оградой. Кашляя, я встал, чтобы закрыть приоткрытое окно. Из своей спальни я видел высокие сполохи пламени над соляными болотами. Зрелище было красивое и страшное. Тогда-то я и заметил её. В белой ночнушке, она стояла босиком в траве посреди сада, неподвижно и одиноко. На фоне мерцающего зарева её силуэт казался загадочной тенью.

Шёл июль 1994 года. Пока я смотрел в спину своей матери, глядящей в пылающую ночь, в её родной стране заканчивался геноцид. И я ничего об этом не знал.

3

Лето подходило к концу, на носу был учебный год. Родители ни о чём меня не предупредили. Посреди нашей гостиной стоял мальчик. Маленький, щуплый, с испуганными глазами. Бритую голову частично скрывал толстый бинт. Он был совсем растерян, и мама говорила с ним на киньяруанда, пытаясь его успокоить. Склонившись к нему, она показывала на меня пальцем. Среди непонятных слов я различил своё имя. Потом она сказала:

– Милан, познакомься, это Клод, мой племянник.

Смысл этой фразы никак не доходил до меня. Папа стоял в дверях, скрестив на груди руки. И, по-видимому, тоже был растерян.

Мама прибавила:

– Он долго был в пути и очень устал. Устроим его в твоей

комнате, так что помогай. Пока что постелим ему матрас на полу.

И она махнула, чтобы мы шли за ней. Отец сказал, что останется внизу и приготовит ужин.

Моя комната располагалась в мансарде, летом она раскалялась, зимой промерзала. Мы с мальчиком стояли и смотрели, как суетится моя мать. Она наскоро прибрала мой бардак, заправила постель, переложила одежду в шкафу так, чтобы освободить место для вещей Клода – двух футболок, сменного белья, одних штанов. Мальчик стоял рядом с ней, потерянно уронив руки. Он не сводил с неё глаз, цеплялся за неё, как мидия за скалу. Чтобы не стоять без дела, я вытащил из чулана матрас, на котором спал в детстве, и положил его возле своей кровати. Закончив со всем, мать повернулась к нам, подбоченилась. Я видел, что она не знает, как быть:

– Так… Клод совсем не понимает по-французски, так что рассчитываю, что ты его научишь. – Она грустно улыбнулась мне.

Кажется, затем она пересказала то же самое Клоду. Он никак не отреагировал, и она повторила то же самое вопросительно. Мальчик робко кивнул.

– Оставляю вас знакомиться. Пойду помогу папе с ужином. Мы позовём, когда будет готово.

Она вышла, и Клод легонько вздрогнул. Стоя посреди комнаты – потерянная, зовущая на помощь душа, – он продолжал смотреть на закрывшуюся дверь. Потом очень мед-

ленно повернулся к окну, в котором квадратом золотилось небо. Я не знал, что делать. Положение было неловкое, и я впервые произнёс вслух его имя. Он не шелохнулся, взгляд всё так же устремлён на окно, лицо отсутствующее. Я повторил громче:

– Клод! Клод!

Наконец он оторвал взгляд от окна. Я похлопал по матрасу, приглашая сесть рядом. Он подошёл и пристроился на самом краю кровати, как можно дальше от меня. И снова уставился в окно. Чтобы разрядить обстановку, я решил включить музыку. Из стопки дисков выбрал *The Best of Queen*, но хотя включал самые известные песни – *Another One Bites The Dust, Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody*, – он даже не шелохнулся. Тогда я сменил тактику. Я вставил другой диск, выкрутил громкость на максимум, и из колонок грянул истеричный трек *Rage Against the Machine*. Когда вступили ударные, я вскочил на кровать, оттуда прыгнул на стул у письменного стола и принялся делать вид, что яростно лабаю на воображаемой гитаре, – мой коронный номер. Я надеялся, что так он чуть расслабится и присоединится к моей бешеной пляске, но он только бесстрастно смотрел на меня. Я же крутился на месте, катался по полу, изображая, как пальцы скользят по грифу в басовом риффе, и, стоя коленями на ковре, лихорадочно тряс головой в диком хедбенге. Иногда я тянул к нему руку, чтобы вовлечь в свою неистовую игру, но он только смотрел на меня, и глаза ничего не выражали. Я

выдержал всю песню, не снижая накала, хотя с каждой минутой неловкость становилась всё ощутимее. Наконец я, тяжело дыша, откинулся на спину, прямо на полу. И тут мне пришла новая мысль. На этот раз я не сомневался, что ему понравится! Я порылся в ящиках стола и достал оттуда "Геймбой". Сев рядом с ним, я запустил игру. Сначала он смотрел на экран, как Марио бегает туда-сюда, собирает монетки, с наскока расплющивает врагов… Я спросил: "Хочешь поиграть?" Вместо ответа его взгляд пополз вбок, проскользил по стенам моей комнаты с постерами *Nirvana, Metallica, Guns'n'Roses* и Фредди Меркьюри… и снова замер на дурацком окне. С досады я выключил игру, бросив надежду хоть чем-то его увлечь. После чего пересёк комнату и распахнул окно: мне не хватало воздуха. Клод тут же вскочил, подошёл ко мне и пристроился рядом. Мы долго молча стояли, облокотившись на подоконник, пока мама не позвала нас к столу. Мы молчали, и мир за окном тоже молчал. Город замер, улицы пустовали, воздух был тёплый, облака в небе порозовели. Долгий августовский вечер, пахнущий глициниями.

За столом Клод не притронулся к еде. Он был целиком поглощён телевизором. Отец, дожевав последний кусок, тут же его выключил и вышел во двор покурить. Мама настаивала, чтобы Клод что-нибудь съел. Но тот сидел неподвижно. Я спросил:

– Почему у него повязка на голове?

Мама ответила:

– У него серьёзная рана.

И сделала вид, будто не понимает моего вопроса, так что я уточнил:

– Да, но откуда?

Она выпрямилась, глянула на меня немного смущённо, откашлялась.

– Клода ранили во время войны в Руанде. Он приехал во Францию на лечение.

– Как это случилось?

– Неизвестно.

– А где его родители?

– Это тоже неизвестно.

– Ты сказала, он твой племянник? Значит, у тебя есть сестра? Или брат?

Отец вернулся за стол. Клод по-прежнему сидел перед тарелкой молча, неподвижно, ноги у него висели, не доставая до пола. Мои вопросы, похоже, раздражали мать.

– Племянник – это для простоты. Он сын родственников, а так как он ещё ребёнок, я называю его племянником.

– Кстати, а сколько Клоду лет?

– Двенадцать, как тебе.

Я расхохотался.

– Не может быть! Это ему-то? Да он на вид как малыш из подготовишки. А если и дальше ничего есть не будет…

– Ну хватит, Милан! – резко сказал отец.

Мать встала и принялась убирать со стола. На десерт она

принесла нам по пудингу “Данетте” и, ставя стаканчик перед Клодом, снова велела поесть.

– Ну и зря, ты сам не знаешь, от чего отказываешься, – заметил я, вскрывая свой “Данетте”. И принялся смаковать сливочный пудинг, зажмурившись и медленно поднося ложку ко рту, как в рекламе. Я поглядывал на Клода, издавая довольное “ням-ням” и поглаживая себя по животу. Но он сохранял такую серьёзность, что родители невольно рассмеялись.

Когда пора было спать, я одолжил ему свою старую пижаму. Она на нём болталась, выглядело это очень забавно. Он лёг и тут же забылся тяжёлым сном. Мама, зайдя пожелать нам спокойной ночи, присела рядом и как следует укрыла его одеялом.

– Бедный малыш, совсем умаялся.

– Мам, скажи, а он сколько будет у нас жить?

Она долго молчала, глядя, как он спит, а потом сказала:

– Он будет у нас жить.

– Всегда?

Мама улыбнулась ласково:

– А тебе бы хотелось, правда?

– Ну конечно! Ты же знаешь, как я мечтал о младшем брате! – Я вскочил на кровати, вне себя от радости.

Мама всё смотрела на меня с нежностью и улыбалась. Она легонько погладила мои волосы, потом прижала большой палец ко лбу, начертила крест и, пожелав доброй ночи, выклю-

чила свет.

Я лежал в темноте, смотрел на потолок и ликовал. У меня теперь был брат! Брат, мой собственный! Я больше не единственный ребёнок. Я больше никогда не буду один. Как только он освоит французский, мы о стольком сможем говорить: будем обсуждать музыку, спорт, видеоигры, даже девчонок. Я расскажу ему про Надеж, про то, как мы встретились в школьном коридоре во время пожарных учений, про наши свидания на стадионе после уроков, всегда на одной и той же скамейке, с видом на баскетбольную площадку; и как мы допоздна сидели на той скамейке по-турецки, слушая альбомы "Нирваны" в одни наушники на двоих, и как тяжело ей было в первые дни после самоубийства Курта Кобейна, странным образом совпавшего с началом резни в Руанде, и как я поцеловал её, чтобы утешить, как мы впервые целовались на той же самой скамейке, как волшебно блестят её глаза, и как именно она любит обниматься, и как её пальцы с обгрызенными ногтями пахнут сладкими духами и сигаретным дымом, и какие соблазнительные образы тайно рождают во мне по ночам её губы и всё её тело, и сколько раз я, лёжа на этой самой кровати, продумывал эротические сюжеты, уносившие меня к ней – к наслаждению. А Клод мог бы рассказать что-то из своей жизни – про любовь и дружбу, разборки и предательства, про то, от чего он без ума и что терпеть не может, а еще про свою страну, про семью, как им жилось до войны и про остальное – про всё то, из-за чего он пока

не может говорить. Случилось то, чего я ждал больше всего на свете. Наконец-то у меня был друг. Даже лучше: брат. Волнение опьяняло, и сон ушёл окончательно. Я воткнул в музыкальный центр наушники, надел их и включил альбом "Радиохед" *Pablo Honey*. Заложив руки за голову, я слушал музыку и смотрел в темноту.

Сильно позже, когда диск уже кончился, сквозь дрёму я услышал стон. Я не сразу понял, что звуки доносятся снизу. От Клода. Я свесился с кровати над его матрасом и спросил, всё ли в порядке. Он стонал как раненый зверь. Потом, так и не проснувшись, начал всхлипывать, сперва тихо и тоненько, но вскоре всхлипы перешли в отчаянные, гортанные рыдания. Я включил лампу у изголовья. Щёки у него были мокрые от слёз, он шмыгал носом и бормотал во сне что-то на киньяруанда. Длинные, испуганные, непонятные реплики, в которых одни и те же слова повторялись снова и снова. Я хотел уже спуститься позвать мать, но тут подумал ещё раз, что мы с ним теперь братья. И прямо сейчас скрепляется наша связь. Я должен защитить его, как он наверняка защитит меня в будущем. Если не я, то кто? На его потном лице читался дикий ужас. Я прилёг к нему на матрас и, так как спал он, свернувшись калачиком, прижался к его спине. Потом обнял. Он дрожал, продолжая стонать и всхлипывать. Тогда я стал шептать ему что-то успокоительное вроде "Не бойся, я здесь". Я шептал это, не обращая внимания на его судороги, повторял сотни раз, пока наконец он не затих и наше ды-

хание не сравнялось. Рано утром мама нашла нас обоих на матрасе, мы спали обнявшись. Как братья.

4

Остаться на второй год – унизительно. В классе меня окружали какие-то гномы, лепреконы и карлики, только-только из начальной. Я поклялся, что в жизни больше ничего не провалю. Мало того, я решил стать лучшим учеником, получить блестящее образование и как можно скорее обрести финансовую независимость, чтобы съехать от родителей – из этого дома, который никогда не чувствовал своим.

Мама наняла в магазин продавщицу, чтобы больше заниматься Клодом. Она водила его по врачам, ходила с ним на приёмы в мэрию и префектуру, чтобы утрясти многочисленные формальности. Всё остальное время Клод проводил у неё в магазине, смотрел маленький телевизор, стоявший в подсобке. По вечерам, пока я делал домашнее задание у себя наверху, мама с Клодом садились за кухонный стол и усердно занимались французским, всякий раз не больше получаса, потому что у Клода быстро начинала болеть голова. В остальном он стал хорошо есть, пил молоко литрами и в одиночку исследовал дом и двор. Из-за его раны мы пока не могли сходить погонять в футбол или на баскетбольную площадку, но ему нравилось сидеть рядом и смотреть, как я играю в “Геймбой”.

По ночам он всё так же плакал во сне, но я ложился рядом, и это его успокаивало. Как-то за ужином он наконец попробовал “Данетте”. Глаза у него расширились от восторга, и все мы рассмеялись, когда я сказал “ням-ням”, а он поднял вверх большой палец. Несколько дней спустя, пока мы с родителями ходили в магазин, он сам открыл холодильник, достал оттуда штук десять и съел. Мы нашли его на диване: он лежал, расстегнув пуговицу на штанах, живот у него раздулся от пудинга, а вокруг были разбросаны пустые стаканчики – мама тогда отругала его, кусая губы, чтобы не засмеяться. Он по-прежнему не говорил, но взгляд у него оживился. Он больше не замирал и не смотрел подолгу в пространство, как в первые дни. Я ставил ему мои диски с роком, плясал перед ним как одержимый, и он иногда даже робко хлопал в ладоши.

С недавнего времени мама стала сама менять ему повязку вместо медсестры. Как-то вечером, во время этих ежедневных процедур, я толкнул дверь ванной и увидел на табурете обнажённого по пояс Клода. Весь тощий, рёбра и лопатки торчат. Сутулая спина и выпуклый затылок образовывали линию, напоминавшую вздыбленную кобру. Мама сосредоточенно разматывала бинт и снимала испачканные марлевые салфетки. Из-за белого света ламп ванная напоминала операционную. Когда она сняла последнюю салфетку, показалась рана. Зияющий, сочившийся разрез с ярко-алой плотью и тёмной каймой. Голова была рассечена так глубоко,

что я испугался, не виднеется ли там кусочек мозга. Мать осторожно прикладывала тампон с дезинфицирующим раствором. Клод стоически глядел в плитку. Серьёзность раны ужаснула меня. Дрогнувшим голосом я всё-таки спросил у мамы, откуда взялась такая чудовищная рана.

– Неизвестно, – ответила она, точными и уверенными движениями продолжая свое дело. – Он не говорит, поэтому неизвестно.

Она попросила подать ей коробку с марлевыми салфетками с полки позади меня. Я не мог отвести взгляд от зияющей раны. В непроницаемом лице Клода мне чудилось что-то сверхчеловеческое, будто он киборг, не чувствующий боли.

– Знаешь, что я подумала, Милан? – спросила мама, отрезая лейкопластырь. – Раз у тебя завтра нет уроков после обеда, зайдёшь ко мне в магазин, заберёшь Клода и вы вместе пойдёте на ярмарку, ту, что на парковке у площади Европы.

Той ночью, пока Клод плакал во сне, у меня перед глазами вспыхивали кадры из хроники минувшей весны. Массовая резня, раздувшиеся сероватые тела, плаваюшие в реках и озёрах, церкви, где из-за трупов не видно пола. Где-то на этих кадрах, которые я старался зарыть поглубже в памяти как далёкие и бесплотные порождения телевизионной трубки, прятался Клод. А мы с родителями молча и отрешённо сидели за ужином, безучастные к его зову о помощи из другого, чуждого нам мира. Поэтому я обнял его крепче, как

бы извиняясь, что не увидел, не услышал его, не был рядом тогда.

На следующий день я зашёл за Клодом, чтобы вместе пойти на ярмарку. Мама взяла с меня слово, что мы не будем кататься на автодроме – из-за его раны. Я договорился с Надеж, что мы встретимся на автобусной остановке перед ярмаркой. Я заметил её издали – по розовым волосам и выделявшемуся в толпе нефорскому прикиду. Тёплые осенние дни выманили всех из домов, на улицах Версаля теснились машины, тротуары были полны людей. Надеж наклонилась, чтобы поздороваться с Клодом дружеским поцелуем в щёку – что его, похоже, удивило, – потом смачно чмокнула меня в губы. Ей было почти четырнадцать, она уже встречалась с парнями, так что держалась свободно. Я же немного терялся, встречаться с девушкой было для меня ново, поэтому, скрывая неловкость, я хлопнул и потёр ладони:

– Ну, с чего начнём?

– С того, чтобы жить быстро, умереть молодым и оставить красивый труп![1] – Надеж высунула язык и кинула "козу", потом прибавила: – Но если с чего ещё, я тоже за.

Я шёл между Надеж и Клодом. Она сжимала мою левую руку, он правую. Я ликовал. Рядом были два самых дорогих для меня человека на свете. Мы шли втроём навстречу праздничному шуму, неразборчивому напластованию деци-

[1] Фраза из фильма "Стучись в любую дверь" (1949) по роману Уилларда Мотли, впоследствии ставшая панк-лозунгом. – *Здесь и далее примеч. перев.*

бел, гнусавому эху зазывал, кричащим вывескам, лужам рвоты у выходов с аттракционов, сладкому запаху чуррос, яблок в карамели и вафель. Большая повязка на голове Клода заинтересовала Надеж.

– Там что-то серьёзное? – спросила она, показывая себе на волосы.

– Ага… вот такущая зарубка, – сказал я, растопырив большой и указательный пальцы. – Но как это случилось, непонятно. Он не говорит – всегда такой молчаливый и ровный.

– Ну и хорошо, как раз отдохнуть после моего братца.

Я не хотел признаваться ей, что Клод мой ровесник. Мне нравилось думать, что у меня есть младший брат, нравилось быть старшим защитником. Надеж остановилась у автодрома. Какие-то шумные парни с толстым слоем геля на волосах таранили там друг друга под ритмичный евродэнс.

– Забей, – сказал я, – с его раной слишком опасно.

– Ну и пофиг, всё равно музыка отстой.

Клод шёл с широко раскрытыми глазами, вбирая в себя всё: разноцветные огни, стробоскопические вспышки, перекличку световых шоу, киоски со сладостями, волнообразно взмывающих и опускающихся на деревянных карусельных лошадках детей, крики взрослых на экстремальных аттракционах. Он остановился перед цепочной каруселью, явно показывая свой выбор. Я купил три билета, мы сели в люльки, и стартовый звонок пронзительно взвизгнул. Перекрикивая квиновский “Ритм ночи”, хозяин заорал “Пое-е-е-еха-

ли!", железные цепи начали натягиваться, наши ноги оторвались от земли, а сиденья накренились под действием центробежной силы. Карусель вращалась всё быстрее, музыка оглушала, хозяин в кабинке гнусаво завывал в микрофон что-то неразборчивое, усиленное эхом динамиков. Я беспокоился за Клода: его пальцы намертво впились в цепи. Надеж кричала, раскинув руки. Карусель ускорилась ещё. Клод закрыл глаза. Надеж орала в небеса, ветер трепал её волосы. Из-за скорости всё смешалось в смутные пятна, мир вокруг исчез, расплывшись в вихре света и звука. Когда карусель остановилась, я бросился к Клоду. Он сидел на своём месте, зажмурившись, опустив голову, и весь трясся.

– Как ты, Клод? Прости меня, прости…

– Расслабься, – успокоила Надеж, – он не плачет. Пацан буквально ржёт до слёз.

Действительно, согнувшись и держась за живот, Клод плакал от смеха.

– С ума сойти… Мама мне точно не поверит.

После поезда-призрака и игровых автоматов у меня осталась только пара монет на тир. Пока я старательно целился в парящие внутри ящика воздушные шарики, Надеж с Клодом жадно поглощали сладкую вату, отрывая от неё лоскуты. Я промазал все выстрелы, и Клод был огорчён. Он настойчиво показывал нам на плюшевого медведя. Поскольку пуль у меня не осталось, я объяснил ему, что у меня больше нет денег и я не смогу выиграть игрушку. Он продолжал дёргать меня

за рукав, тыча в медведя пальцем. “Дружище, ты уже вырос из мягких игрушек!” – отрезал я, беря его за руку, чтобы вести домой. Было видно, как ему грустно. Вся радость последних часов улетучилась, и на обратном пути от неё остались одни воспоминания.

Перед самыми осенними каникулами маме нужно было поехать с Клодом на три дня в Брюссель, навестить “дальних родственников”. Я бы с радостью поехал тоже, но они выезжали на неделе, а мне нельзя было пропускать учёбу. В день их возвращения звонок в дверь раздался только ближе к полуночи. Я не спал, уже который час я нетерпеливо расхаживал по комнате. Я сбежал по лестнице, крикнув отцу, чтобы он дал мне открыть самому. У меня был сюрприз для Клода: Надеж вернулась тогда на ярмарку, разнесла все шары и добыла его медведя. Но когда я открыл дверь, под навесом крыльца стояла только моя мать с чемоданом.

– Где Клод?

– Привет, для начала. Почему это ты до сих пор не в постели? Не стой в дверях, дай я войду.

Она поцеловала отца, поставила чемодан и повернулась ко мне.

– Где Клод? – повторил я, сдерживая злость, которая уже клокотала внутри.

– Присядь, Милан.

– Нет, мама, ответь на вопрос.

Из-за дурного предчувствия к глазам подступили слёзы.

– Клод вернулся в Руанду. Отыскались его живые родственники. Милан, он не мог остаться с нами.

Я стиснул кулаки от гнева. Две крупные слезы разбились о плиточный пол. Сдавленным голосом я выдохнул:

– Ты обещала, что он останется. Ты сказала, теперь у меня есть брат.

– Милан, ты о чём вообще? Мы думали, он сирота, а тут нашлась его семья. Ему же лучше…

– Ты мне наврала! – выкрикнул я.

Хлопнув входной дверью, я побежал, не разбирая улиц, прочь, подальше от этого дома, от их лживого и притворного молчания, от этих чужаков, зовущихся моими родителями. Отец кричал мне в спину, требуя немедленно остановиться. Вылетев на аллею вдоль станционной ограды, я обернулся и увидел, что он бежит за мной в пижаме и тапках.

– Милан, сейчас же вернись!

Последняя электричка из нашего пригорода в Париж прогудела перед отправлением. Я ускорился, взмывая по лестнице вокзала, перепрыгивая ступеньки. Всего двадцать, десять, пять метров до поезда; я бросился в первый вагон, и двери захлопнулись прямо за мной. Подбежавший отец пробовал их раздвинуть – безрезультатно; он бил в стекло, кричал машинисту, чтобы тот не трогался, однако безучастный поезд тяжело подался вперёд и погрузился в ночь. Я был в вагоне один, поезд болтал меня из стороны в сторону, свет то и дело мигал, колёса пронзительно скрежетали на каждой

стрелке, токоприёмник искрил. Я сел у окна, держа на коленях плюшевого мишку Клода. Всё мое тело дрожало от гнева. Между станциями Сен-Клу и Дефанс в окне развернулся Париж, во всю его длину, с Эйфелевой башней по центру, и лучи прожекторов на её верхушке вращались, как маяк для потерянных вроде меня. Мало-помалу я приходил в себя и не мог понять, зачем я здесь – в этом поезде, в этой ночи, в этом городе, в этой жизни; я хотел никогда больше не возвращаться домой, я мечтал навсегда сбежать к неведомым озёрам, усеянным дикими островами, в далёкие земли, сплошь в солнечных брызгах.

На Сен-Лазарском вокзале меня поджидала железнодорожная полиция. Видимо, отец поднял тревогу, так что двое патрульных доставили меня домой. Когда родители открыли дверь, я, не глядя на них и не сказав ни слова, устремился в свою комнату и заперся на ключ. Постель Клода исчезла. Я стащил свой матрас на пол, уткнулся лицом в подушку и, прижав к себе плюшевого медведя, снова заплакал. Я чувствовал в самой своей глубине, что где бы он ни был, неважно, спит он или бодрствует, Клод сейчас тоже плачет, и рядом нет никого, кто поддержал бы его, утешил, прошептал бы на ухо, что завтра всё будет хорошо.

После того дня у нас дома ещё долгие годы не звучало имя Клода. Он исчез из нашей жизни так же быстро, как и возник в ней.

1998

5

Мне было шестнадцать, когда родители объявили, что разводятся. Мы сидели вечером за столом, и, переходя к десерту, они торжественно произнесли ту самую фразу: “Милан, нам надо тебе кое-что сказать”. Я сразу всё понял. Я знал, что отец уже который месяц спит на раскладушке в маленькой комнате, где у него был рабочий кабинет. Мама взяла пульт от телевизора и выключила звук. Они стали говорить о практических мелочах, искусно обходя стороной причины их расставания и не интересуясь моими чувствами по этому поводу. Дело было закрыто, подшито, проштамповано. Как и всегда у них. Когда в тот вечер я созванивался с Надеж, она сказала, чтобы я радовался: теперь у меня будет больше свободы, и вообще я же сам всегда жаловался на семью. Я не знал, как объяснить ей, что меня будто вдруг вырвали из детства и оказалось, что я всю жизнь прожил в иллюзии согласия и гармонии в этой эрзац-семье – вроде кофе без кофеина, – с одними и теми же пустыми ритуалами и закольцованными привычками под пресно сменяющие друг друга школьные годы, вечно поверхностные бе-

седы, вечно бессмысленные вопросы и стандартные ответы, в постоянном нелепом стремлении изображать, что жизнь у нас – как морская гладь без малейшей ряби. Но, конечно же, я ничего этого не сказал, зная, что Надеж всё обернёт так, что я ещё должен радоваться своему счастью, противопоставит моей семье свою, проблемную, с тираном-отцом, тихоней-матерью и братцем – нацистом и манипулятором.

Когда родители перечислили все последствия и нюансы того, как их развод повлияет на мой быт, отец с облегчением встал, потянулся и стал искать по карманам пачку, пока не вспомнил, что недавно бросил курить.

– Кажется, Милан, теперь ты всё знаешь. Остались вопросы? – спросил он, как учитель, только что расписавший на доске теорему.

Я же смотрел на стоявшую на комоде фотографию родителей, сделанную до моего рождения. Она задумчиво сидит у края бассейна, он рядом, в воде, так что видно только улыбающуюся в камеру голову и закинутые на край локти. Оба совсем как дети. Мне нравился этот снимок и то простое счастье, которым он светился. Я совершенно не знал, где и когда он был снят, и сейчас был не лучший момент, чтобы спрашивать.

– У тебя остались вопросы? – повторил отец.

– Нет-нет, всё ок… – пробурчал я и пожал плечами.

Было бессмысленно что-то говорить, их решения это не изменит.

– Филипп, нам ещё нужно обсудить летние каникулы, – заметила мать.

– Ах да, точно, чуть не забыл. В общем… Так как дедушка болеет, этим летом мы не поедем на остров Ре. Мне в любом случае нужно работать, у меня важные дедлайны в сентябре, зато зимой мы с тобой вдвоём поедем кататься на горных лыжах. А пока что мы с мамой подумали, что в июле…

– Ты можешь поехать со мной, – оборвала его мать. – За компанию – я еду повидаться со своими родственниками в Руанду. Что думаешь?

От такого вопроса меня будто ударило током. Четыре года спустя Руанда вдруг возникла опять. Мы ни разу не говорили о ней с тех пор, и вот мама предлагает лететь туда вместе. Я чувствовал, как старая досада зашевелилась внутри, заглушая разум и здравый смысл.

– Нет, я не хочу туда ехать.

– То есть как это – не хочешь ехать? – поразился отец.

– Вы спросили, я ответил. Это вопрос был или приказ?

– Ты не хочешь познакомиться со своими родственниками? – спросил отец.

– Это не мои, а мамины родственники. Если ты не слышал, она так и сказала: я еду повидаться со *своими* родственниками. Не с нашими.

– Ты, Милан, цепляешься к словам, – раздражённо вздохнул папа.

– Оставь его, Филипп. Я поеду одна. И вообще, это была

просто идея.

– Как скажешь, Венансия. Но что ему тут делать всё лето? Я буду работать нон-стоп, а родители его принять не смогут.

– За меня не беспокойтесь, я здесь останусь.

– Два месяца дома проторчишь? Без планов? Исключено, – ответил отец.

Когда я пересказал всё это по телефону Надеж, она буквально наорала на меня:

– Тебе предлагают поездку в незнакомую страну, да ещё не абы какую, а на родину матери, твоих предков, с родственниками познакомиться, а ты… ты… ты вместо этого хочешь всё лето фигнёй страдать в Версале на правом берегу и изнывать от безделья?! Ты дебил или прикидываешься? Честно, ты мне иногда моего тупого братца напоминаешь.

Последнее сравнение задело меня за живое, потому что её брат и правда был самым конченым дебилом, которого я знал.

– Такая нереальная возможность, а ты всё запороть решил. Значит, так, чувак, слушай сюда внимательно. Или ты сгоняешь туда со своей мамашей – или даже не мечтай увидеть меня этим летом.

Месяц спустя я сидел рядом с мамой в самолёте, заходившем на посадку в аэропорт Кигали, столицы Руанды. Шёл июль 1998-го.

6

Такси ехало сквозь пропечённый летней засухой охряной город, взрезанный местами зелёными купами деревьев. Машину болтало на многочисленных колдобинах, колёса поднимали в воздух летучую и удушливую латеритную пыль, парившую туманом и оседавшую на несчастных пешеходах, фасадах домов и окрестной зелени. Вокруг, куда бы ни падал взгляд, город раскинулся плавными изгибами с волнами холмов и низин. Мать молча смотрела в окно. Она двадцать пять лет не была в своей стране. О чём она думает? С самого выхода из дома мы толком не разговаривали друг с другом. То, что я в последний момент всё-таки захотел лететь с ней в Руанду, не обрадовало её, а скорее обременило, так что я не решался ни о чём расспрашивать. Я ничего не знал ни о её планах по прибытии, ни у кого мы остановимся. Единственное, что она мне сказала при посадке, – это чтобы я не вёл себя как избалованный ребёнок, пока мы здесь.

Такси остановилось перед узкими, побитыми ржавчиной воротами в районе, который показался мне очень многолюдным и бедным. Между домами с жестяными крышами бежала по желобам грязная вода, в канавах и на грунтовых дорожках валялись пластиковые пакеты, и всё вокруг покрывал тонкий слой красной пыли.

Навстречу нам вышла пожилая женщина, длинное платье,

очки в толстой оправе и строгая причёска с масляным отливом придавали ей суровый вид. Они с мамой долго обнимались, крепко прижавшись и гладя друг друга по спине и плечам под нескончаемый поток приветствий на киньяруанда. Потом женщина повернулась ко мне, какое-то время молча разглядывала – за стёклами очков проступили слёзы, – после чего она сжала меня в ещё более долгих объятиях, повторяя моё имя и какие-то слова, которых я, разумеется, не понимал. Я оторопело пережидал её настойчивую хватку. Мать сказала:

– Познакомься, Милан, это Бабуля. Моя мама.

Это было так внезапно и невероятно, что потребовалось какое-то время, чтобы информация дошла до меня.

Мы уже сидели в скромном доме Бабули, когда я наконец осознал, что это моя бабушка. Мама никогда про неё не рассказывала, и такое внезапное появление меня почти парализовало. Девушка, которая работала в доме прислугой, пришла забрать наши чемоданы, а мы тем временем расположились в гостиной. Комната была тесная, и я сел в кресло напротив бабушки. Она всё глядела на меня удивлённо, прикрыв ладонью рот и издавая гортанные звуки, как будто прогревался мотор: “гхм гхм гхм гхм”. Я, брошенный в неведомые воды, не знал, что делать и как держаться. Впервые мне было не по себе из-за моих корней. Я нёс в себе тайну, родословную с множеством ответвлений, которая вдруг с очевидностью воплотилась в этой невысокой и такой далёкой от

меня женщине.

Когда минуты взаимного разглядывания закончились, Бабуля, к моему огромному удивлению, обратилась ко мне по-французски:

– Что вы хотите пить?

Она говорила мне “вы”.

– Воды, будьте добры, – сказал я, кашлянув, тоном воспитанного мальчика.

Бабушка что-то быстро сказала матери на киньяруанда.

– Бабуля хотела бы, чтобы ты выбрал фанту или колу, – объяснила мать. Потом прибавила, как будто нас никто не слышал: – Так будет вежливее.

– Хорошо, тогда колу, – попросил я, не понимая, каким образом это может быть вежливее.

Бабушка довольно улыбнулась и позвала прислугу: “Жозефина!” Девушка тут же явилась, шаркая по бетонному полу сандалиями. Бабуля передала ей заказ, вручила несколько купюр, вынутых из бюстгальтера, и отправила её за напитками. Пока мама с Бабулей спокойно, словно виделись вчера, беседовали на киньяруанда, я разглядывал гостиную – тёмную комнату с крошечными окошками, забранными в толстые железные прутья, низким потолком и голыми стенами, если не считать пары благочестивых картинок. Впечатление тесноты усиливала массивная деревянная мебель: стол в окружении разномастных стульев, сервант с трещинами на стёклах, три ветхих кресла искусственной кожи и диван в

полиэтиленовом чехле. Был уже вечер, и свет из окна падал всё более косо. Мать с дочерью продолжали свой тихий разговор после разлуки длиной в четверть века. Я пребывал за пределами их беседы. Голоса звучали монотонно, реплики перемежались междометиями вроде “гм”, “хе”, “йо” – то ли вежливыми, то ли одобрительными, как бы говорящими: “я здесь, я слушаю тебя, рассказывай дальше”. В Бабуле читалась та же сдержанность, что и в матери. Такое же граничащее с суровостью самообладание.

Девушка вернулась, открыла по очереди бутылки – колу и две апельсиновые фанты. Ночь наступила внезапно. Мы теперь сидели в темноте. Жозефина принесла керосиновую лампу и поставила её на журнальный столик. Девушка постоянно сновала туда-обратно, извлекая из серванта посуду под властным бабушкиным взглядом. С моего места был виден двор, и я мог наблюдать, как она суетится вокруг кастрюль, пыхтящих на раскалённых углях. Когда я спросил, где туалет, бабушка снова кликнула Жозефину, чтобы та меня отвела. Я пошёл за ней, и она показала мне оцинкованную дверь в углу двора, которая закрывалась изнутри на крючок. Когда я вошёл, в нос ударила резкая вонь мочи и экскрементов. При свете единственной свечи в стенной нише я различил тараканов и огромных мух, круживших над отвратительной дырой, которую разглядывали с потолка неподвижные гекконы. Я растерялся, и у меня вдруг мелькнула мысль: что вообще я забыл здесь, в этом зловонном закутке? Из-за тошно-

творного запаха, насекомых в полутьме, влажной шершавости стен, потолка и пола я оцепенел. Тут со стороны гостиной донеслись возгласы и мужской голос. Стараясь дышать через рот, чтобы не чувствовать мерзостных испарений, которые всё равно пробирались мне в горло и лёгкие, я вдруг почувствовал такой сильный приступ тошноты, что сдержался, только зажав рот рукой. Тут я сдался – пожалуй, можно ещё потерпеть. Я быстро застегнул ширинку и выскочил из этого места, решив никогда больше туда не возвращаться.

Посреди гостиной стоял стройный юноша. Он говорил с мамой на киньяруанда, потом вручил ей конверт с сине-бело-красной окантовкой. Повернувшись ко мне, он сперва оглядел меня, потом спросил:

– Как оно, Милан?

– Ничего, – ответил я неуверенно.

Он чуть повернул голову, и тогда в тусклом свете гостиной я увидел широкий неровный рубец, пересекающий всю голову.

– Не узнаёшь меня? – улыбнулся он.

Я не решался произнести его имя. Слишком сильно было потрясение. Мать и здесь меня никак не подготовила. Видя, что я оторопело молчу, он сказал сам:

– Я Клод.

Маленький мальчик исчез. Клод был теперь моего роста, стройный, жилистый, и говорил низким, приятным, спокойным голосом. Я продолжал молчать, опешив от такой встре-

чи. Встречи с прошлым.

– Великолепный французский, Клод! – воскликнула мама.

– Лучше, чем в иезуитской школе, ему нигде не учат, – уточнила бабушка. – Дисциплина там хорошая.

Перед ужином бабушка попросила всех взяться за руки, чтобы прочесть молитву и поблагодарить Господа, который соединил нас после стольких лет. Затем мы приступили к блюду, состоявшему из риса, красной фасоли, ферментированного сливочного масла и томатно-говяжьей подливки. Из-за воспоминаний об отхожем месте в глубине двора аппетит у меня пропал, но Бабуля каждые две минуты повторяла: "Кушайте, кушайте", глядя на меня с несколько обременительной нежностью, которой удостаивался я один. Мама, бабушка и Клод говорили на киньяруанда о чём-то непонятном, то и дело прерываясь на долгое тяжёлое молчание. В этот вечер семейного воссоединения время, казалось, замерло – ни радости, ни смеха, только монотонный бубнеж. Я с трудом подавлял неуместную зевоту. Стемнело каких-то пару часов назад, но из-за полумрака и неспешных разговоров казалось, что уже очень поздно. Заметив, что я устал, мать предложила мне пойти спать.

Спальня – комната Клода – оказалась по-спартански узкой, с простой кроватью и холщовыми мешками на полу, в которых хранилась одежда. Я лёг на продавленный в середине поролоновый матрас и тут же уснул, сражённый усталостью и впечатлениями за день. Где-то посреди ночи я по-

чувствовал, что Клод подлёг ко мне. Из-за формы матраса мы оказались притиснуты вплотную, в неловкой для молодых людей нашего возраста близости. Он жарко дышал мне в лицо. Я отвернул голову к стене. Теперь я не спал, но пошевелиться не решался. Из-за жары, комаров и тесноты в этой неудобной кровати было уже не заснуть.

Всю долгую ночь я спрашивал себя, что я здесь забыл. То, что я находился в этом месте, казалось чем-то нереальным, настолько странным, что это больше походило на сон. Я чувствовал себя в прямом смысле инородным, что было одновременно ужасно и волнующе, мне хотелось бежать из страха перед неизвестностью и остаться исследовать этот новый мир. С первыми лучами зари, когда из мечети неподалёку донёсся азан, моё тело наконец расслабилось и я почувствовал, как ко мне возвращается сон.

7

Наверное, я спал слишком долго, потому что, когда проснулся, в доме никого не было и только Жозефина подметала двор. Я думал принять душ, но, когда она поставила мне пластмассовый таз с тёплой водой у дверей нужника, я понял, что это отвратительное место служит заодно и ванной комнатой. Это было выше моих сил – набрав воздуха, я заглянул туда, только чтобы опорожнить мочевой пузырь, после чего кое-как умыл лицо над раковиной во дворе и влез во

вчерашнюю одежду. Затем я опять улёгся на кровать, чтобы полистать мангу с плеером в ушах. Ближе к полудню вернулся Клод и протянул мне записку от матери: “Милан, не хотела тебя будить. Я съезжу на день в Бутаре за парой документов. До вечера. Мама”.

– Что такое Бутаре?

– Город на юге. Твоя мать из тех краёв.

– А-а…

– Чем занят?

– Ничем. Ты не знаешь, где можно обменять деньги? У меня есть немного французских франков.

– Так… Обувайся, пойдёшь со мной. У меня как раз пара дел на районе.

Я спрыгнул с кровати, надел кеды, сунул в правый носок несколько купюр, и мы вышли в полуденное солнце. Стоял сухой сезон, и я щурил глаза от ослепительной белизны. Кругом было много людей, машин, и всюду – красная летучая пыль, от которой першило в горле. Мы шли по длинному проспекту без тротуаров. Я старался следить за открытыми люками, глубокими канавами с нечистотами, машинами и микроавтобусами, которые проносились совсем рядом, непрерывно сигналя. Когда мы подошли к аптеке, Клод сказал ждать его снаружи. Ко мне тут же приблизился грязный босой ребёнок в лохмотьях, с коростами на лысой голове, который вёл за собой слепого старика с гноящимися глазами и почти без зубов – они просили милостыню. Ребёнок упор-

но направлял руку старика, чтобы тот коснулся моего локтя. И твердил по кругу: “Дайте денег, дайте денег”. Прохожие останавливались и с любопытством наблюдали за сценой. Я повторял “нет”, но ребёнок настаивал, а старик меня не отпускал. Мне стало не по себе; нас уже обступила небольшая толпа, все смеялись и обсуждали происходящее. Я уже думал про пару купюр в носке, но доставать их под столькими взглядами было нельзя. Клод, выйдя из аптеки, тут же уверенно отогнал нищих, положив зрелищу конец, и мы двинулись дальше. Где бы мы ни шли, все открыто разглядывали меня, оборачивались, провожали глазами, даже когда я был уже далеко, прерывали разговоры и бесстрастно – без видимой злобы, но и без радушия – мерили пристальным и часто удивлённым взглядом. Меня это угнетало и сбивало с толку.

– Почему все на меня смотрят?

– Чего?

– Да глянь, все на меня пялятся, стрёмно как-то! Зачем?

– А… Так это потому, что ты белый.

– Белый? Ничего подобного. Я насколько белый, настолько и чёрный.

– Ты о чём вообще? Ты – белый. Белейший. Как, кстати, и твоя мать. Она из побелевших темнокожих.

– Бред какой-то… Моя мать одного с тобой цвета.

– На твою мать только глянешь – как она ходит, как держится, как одевается, – и сразу понятно, что она белая. Как и ты – этого не спрячешь. Нужно просто принять, обижаться

тут не на что.

– Я и не обижаюсь. Просто говорю, что я метис.

– Кто?

– Метис.

– А, метис, ну-ну… Забудь. Ты музунгу. Белый как снег, и точка. Метис – такого не бывает.

С широкой асфальтированной дороги мы свернули на грунтовую и углубились в ещё более густонаселённый район, где бетонные и саманные домишки с крышами из профлиста жались друг к другу кучками. Миновав десяток ларьков, торгующих батарейками, солью, напитками и туалетной бумагой, несколько парикмахерских, мясную лавку, пару хозяйственных магазинов и автомастерскую, где пол насквозь пропитался моторным маслом, мы оказались перед небольшим домом, который ничем не выделялся, кроме выходящей на улицу террасы за толстой решёткой. Когда мы вошли, Клод послал какого-то мальчишку за “Дедой”.

– Этот мужик, Деда, обменяет деньги. Можешь ему доверять.

Подошёл мужчина, из одежды на нём было только обёрнутое вокруг бёдер полотенце. Из-за сонного взгляда и следов от подушки на щеке я подумал, что мы подняли его посреди сиесты. После пары реплик, отдалённо напоминавших переговоры, этот человек вышел и вернулся с калькулятором и прозрачным пакетом, набитым руандийскими франками. Он быстро и с силой настучал что-то на больших кноп-

ках, потом показал мне на экране число с множеством нулей. Я, не имея ни малейшего представления о курсе, кивнул, решив довериться словам Клода. Покончив со сделкой, я вышел от Деды с раздутым от банкнот большим почтовым конвертом. Клод сказал быть осторожнее и спрятать его под футболку. Мы немного прошли по улице, где Клод, словно местный депутат, здоровался с каждым, и свернули в грязный, пропахший мочой проулок, похожий на длинный коридор со стенами, покрытыми штукатуркой с подмешанным в неё битым бутылочным стеклом. Проход вывел нас в широкий двор, окружённый домишками в плачевном состоянии. Росшее посреди двора авокадо немного скрашивало общую убогость лачуг с облупленной краской на стенах. Из каждого закутка трещало радио, и толпа ребят обоих полов, от восьми до двадцати лет, удивлённо меня разглядывала. Сам двор был завален всем подряд и представлял собой невообразимую свалку запчастей, двигателей, рам, грузовых покрышек, груд металлолома, холодильников, полусгнивших досок, ломаных стульев, жёлтых канистр и пластиковых тентов с логотипом ООН. Как будто ураган прошёлся по барахолке. Малыши сидели на земле и мастерили машинки из проволоки, резинок и бутылочных пробок, те, что постарше, забравшись на крышу, пытались запустить воздушного змея из пакетов. В углу подростки с голыми торсами качались, используя гантели из жестянок с залитым внутрь цементом, другие лежали на циновках в тени дерева и дремали или нюхали клей. Я

прошёл за Клодом в одну из лачуг. Первые секунды я привыкал к темноте и затхлому запаху. Потом кто-то кашлянул, и на убогом матрасе у стены я заметил человека лет двадцати с небольшим. Вокруг всё, от пола до потолка, было заставлено фантастическим количеством видеокассет, дисков, а главное – книг. Человек сел, опершись на стену, и Клод протянул ему несколько лекарственных упаковок. Из-за впалых щёк, бритой головы, худобы и слегка уголовного вида незнакомец немного пугал. Слабо улыбнувшись, он указал нам на странно смотревшиеся тут табуретки. Голос у него был низкий, с хрипотцой, и говорил он нарочито медленно, с растяжкой.

– Как тебя зовут?

– Милан, – ответил я, хотя не был уверен, что вопрос адресован мне, так как его левый глаз сильно косил в сторону.

– Как Милан Кундера, – заметил он с апломбом.

– Ага.

– Ты читал "Невыносимую лёгкость бытия"?

– Нет. Кажется, отец её любит, отсюда и имя.

Странный оскал никак не сходил с его лица, и мне стало совсем не по себе.

– Меня зовут Сартр, как Жан-Поля.

– Приятно познакомиться.

– Знаешь его?

– Кого?

– Жан-Поля Сартра?

– Честно говоря, нет…

Я смутно припоминал чёрно-белые снимки какого-то типа с жабьим лицом, всегда при галстуке, с трубкой во рту, толстыми интеллигентскими очками, косым пробором и, конечно, косоглазием.

– Это писатель, философ, драматург и очень идейный деятель культуры. Если ты француз, то должен его знать!

Его менторский тон начинал действовать мне на нервы, но я старался этого не показывать.

– Меня не очень интересуют книги и писатели…

– А что же тогда интересует?

– Музыка.

– О! Музыка! Какой жанр?

– В основном рок.

– Я помню, как ты скакал и катался по ковру! – прыснул Клод.

Меня поразило, что Клод вспоминает об этом так весело, хотя тогда он будто замкнулся в молчании и ничего не воспринимал. Стоявший передо мной парень был совсем не похож на мальчика четырёхлетней давности. И всё же у нас были общие воспоминания. От этой мысли мне стало радостнее и спокойнее. Она как-то оправдывала то, что я здесь.

Сартр поднялся. Он был в плавках. Худоба подчёркивала его болезненный вид.

– У меня малярия, – сказал он, почёсывая голову и оглядывая комнату, будто что-то искал. – Но Клод принёс мне антибиотиков, так что скоро я буду здоров, и мы ещё выпьем

по стаканчику в здешних барах!

Он порылся в стопке пластинок, вытащил одну и поставил в проигрыватель, который я в этом бардаке не заметил. Я узнал *Pink Floyd*, одну из немногих рок-групп, которую любил слушать отец, поклонник джаза.

– Давай, покажи нам, как танцуешь, – бросил Сартр.

– А?

– Любишь танцевать? Ну так покажи как.

– Это давно было. Я таким больше не занимаюсь. И вообще тупо как-то – мы друг друга знаем пять секунд, а ты меня плясать просишь.

Клод с Сартром рассмеялись. И я не мог понять, надо мной или нет.

– Обещай, что станцуешь, когда я поправлюсь.

– Ладно-ладно… Посмотрим.

Мне хотелось в туалет, но я предполагал, что тут с этим ещё хуже, чем у Бабули. Сартр уселся обратно на матрас и налил себе воды.

– Ты в Руанде первый раз?

– Да, я здесь с мамой. Она руандийка.

– Знаю твою мать, она сестра Клода.

– Нет, тётя.

– Она мне не тётя, а сестра, – возразил Клод, глядя на меня удивлённо.

– В смысле? Она мне сказала, что ты её племянник. И вообще, какая она тебе сестра?

– Старшая сестра, говорю же.

– Да что за бред?

– Венансия – моя старшая сестра.

– Быть не может. У вас с ней разница почти тридцать лет. В смысле, как Бабуля…

– Я сын не Бабули, а твоего деда, Эмманюэля, отца твоей матери.

– Моего деда Эмманюэля?

– Ну и дела! Твой дядя – твой ровесник, – усмехнулся Сартр.

Это было слишком. Я отказывался понимать.

– Но… где тогда твои родители?

– Я сирота. Бабуля взяла меня к себе четыре года назад, когда вы отправили меня назад в Руанду.

В последних словах мне послышался упрёк, а может, померещилось из-за чувства вины. Меня снова поставили перед фактом. Я привык не задавать лишних вопросов, так что не решился обсуждать это при Сартре, к тому же я видел, что Клод смущён. Разговор вдруг отбросил нас обратно в 1994 год, а возвращаться туда, возможно, было ещё рано.

Конец неловкости положил внезапно вошедший без стука мужчина. Он протянул Сартру стопку книг, тот глянул на неё мельком и тут же вернул все, кроме одной.

– Остальные забирай, дешёвая церковщина. А вот эту я куплю за тысячу.

– За две, командир, – выпалил мужчина.

– Полторы, последняя цена.

Сартр подождал, пока тот уйдёт подальше, прежде чем ликовать:

– Люди вообще ни черта не разбираются в ценности книг! Он только что продал мне полное собрание Сен-Жон Перса в издании “Плеяды” по цене бутылки пива.

– Ты коллекционер? – спросил я, изображая интерес, хотя всё ещё не оправился после откровений Клода.

– Нет, я рыцарь. Я спасаю мировую культуру от варварства.

– А, окей… Ну а что ты потом делаешь со всеми этими книгами? Перепродаёшь?

– Продаю? Кому? Никто не читает. Разве что Библию, да и то в скверных переводах.

– А откуда тогда вообще все эти книги?

– От белых, которых во время геноцида эвакуировали. Они улетали впопыхах, в первые же дни, захватив домашних животных, а всё остальное бросали: прислугу, машины, бытовую технику, музыку и книги. Я всего лишь спасал то, что иначе сгинуло бы в пожаре людского безумия.

Клод видел, что беседа начинает меня напрягать, так что прервал лирические и самодовольные излияния Сартра, сказав, что нам надо идти.

На оживлённой улице я расслабился и вернулся к разговору:

– Как ты с Сартром познакомился?

– Это он подобрал меня во время геноцида. Он сиротам за старшего брата. Сам видел, у него там “Дворец” *mayibobo* – дом для уличных детей, майибобо, убежище брошенных. Он заботится о них, защищает.

– И чем они живут?

– Как и все. Выкручиваются. Младшие просят в городе милостыню или барыжат понемногу. Ничего опасного. Потом сдают всё в общий котёл, которым Сартр распоряжается на благо общины.

Я слушал, как Клод рассказывает о Сартре и детях из его Дворца, а сам хотел говорить о другом – о матери, её родителях, о Бабуле, о том, как Клод вернулся в Руанду. Но это было слишком. Слишком рано, слишком важно, слишком сложно. Я чувствовал усталость, мне просто хотелось сходить в чистый туалет, поспать на мягкой и удобной кровати, принять душистую ванну в не провонявшем мочой и дерьмом помещении.

8

Дни шли, а мама всё не возвращалась в Кигали. Как-то утром она позвонила на стационарный Бабулин телефон – соединение было плохое, звук прерывался: “…Милан… я пока застряла… Бутаре… решить срочные дела… объясню… добр, дай Бабулю…” Бабуля взяла трубку, и они долго говорили. Беседа показалась мне напряжённой, и Бабуля

повесила трубку с мрачным видом.

– Мама сказала, когда вернётся?

– Не знаю. С Венансией всегда проблемы.

Она была явно расстроена и только бормотала что-то, прицокивая языком. Походя отчитала Жозефину, которая принесла два термоса с чаем. Один на завтрак, а другой – чтобы Бабуля взяла с собой. Бабушка работала медсестрой в Кигальской центральной больнице, и я видел её редко. Когда она возвращалась, мы с Клодом ещё гуляли – чаще всего зависали у Сартра, где проводили большую часть времени. Мы целыми днями слушали музыку, и я открывал для себя новые стили: хайлайф, афробит, фанк, соул, румбу. Клод предпочитал пересекаться с Бабулей как можно реже. Считал её суровой и властной. Несколько раз он давал мне понять, что моя мать, покидая страну, сбегала не только от погромов, но и от неё. Но мне было всё равно, я вставал пораньше, чтобы позавтракать с Бабулей. Это была единственная возможность чуть больше о ней узнать, хотя она тоже не очень-то любила рассказывать.

– Кушайте! Кушайте! – настаивала она за столом.

– Спасибо, Бабуля, манго изумительные.

Она улыбалась. Видя, как я ем, она испытывала почти физическое удовольствие. И гордилась моей прожорливостью.

– Мужчины должны есть! Очень важно!

У неё были незыблемые взгляды на все аспекты жизни. Меня эти повелительные высказывания забавляли, как и её

одержимость ценами на сахар. На одну чашку чая она клала четыре ложки с горкой, а чай пила постоянно.

Когда в 1973 году мама бежала из Руанды, Бабуля тоже уехала, но в Бурунди, и обосновалась в районе руандийских беженцев в Бужумбуре. Там она заботилась о детях родного брата и ещё пары двоюродных. Работала в больнице и через пятнадцать лет сумела купить скромный дом. После геноцида она вернулась в Руанду. Бабуля говорила, что в Руанде жить сложнее, чем в Бурунди. Когда я спрашивал, не жалеет ли она, что уехала оттуда, она отвечала: “Руанда лучше, здесь я дома, но сахар очень дорогой”. Я о стольком хотел её расспросить, но так как французский у неё был в зачаточном состоянии, приходилось довольствоваться нашими поверхностными беседами. Тем не менее я узнавал её лучше. Бабуля была очень набожна, каждое воскресное утро она шла в церковь. Она и нас звала пойти с ней, но Клод отказывался наотрез. Он утверждал, что католическая церковь в Руанде – соучастница геноцида, что многие священники замешаны в убийствах, и он не представляет, как станет молиться в местах, которые использовались как бойни. Лучше он будет жить со своей верой сам по себе.

Как-то в воскресенье я решил пойти вместе с Бабулей. Когда рано утром мы вышли из дома, Клод всё ещё дрых. Накануне мы вернулись поздно, и я пожинал плоды вчерашних излишеств, так что не уснуть на мессе было для меня настоящим испытанием – два часа слушать киньяруанда, сидя на

жёсткой скамье в тесноте и духоте. Только чудесное пение хора более-менее удерживало меня на плаву. Когда мы вышли, двор церкви был забит битком, и Бабуля с гордостью представила меня своим подругам – нарядным пожилым дамам, дивившимся на странного белокожего внука, не знающего ни слова на киньяруанда. Я был диковинкой, причудливым плодом с витиеватого семейного древа.

Вечером в тот же день, после нескольких банок пива во Дворце, я сказал Сартру, что впечатлён его музыкальной коллекцией. Он тут же принялся рассказывать:

– Был тогда один парень, его звали Сынок, он ещё учился в Германии. В Руанду он вернулся с огромной коллекцией пластинок, которую везли океаном в большом контейнере. Посылка шла много месяцев, но когда пластинки прибыли в Кигали, это стало настоящим событием. Во всей стране никогда столько не видели! Об этом даже на радио говорили. Когда в апреле девяносто четвёртого Сынка убили вместе с его семьёй, я пробрался туда с тачкой, чтобы забрать всё, пока убийцы не подожгли дом. В тот день я снова спас культуру!

– Аха-ха… хороший эвфемизм для мародёрства, – засмеялся я.

Но едва я договорил, как по лицу Сартра пробежала нехорошая тень. Он бросился на меня и стал яростно избивать. Майибобо кинулись к нам, схватили его за руки, пока он совсем меня не отделал. Он был в бешенстве, оттащить его

смогли только толпой.

– Ты кем себя возомнил? Пришёл ко мне в дом и мародёром зовёшь, паскуда мелкая?

– Прости, Сартр, я же шутил.

– Думаешь, у нас здесь шутят с такими обвинениями?

– Прости меня, правда. Я ничего плохого не думал, честное слово…

Клод взял Сартра под локоть и увёл в угол двора, чтобы вразумить. Верхняя губа кровила, и я водил по ней языком, чувствуя привкус металла. Я не решался поднять голову. Я думал вернуться к Бабуле, но все ещё не знал, как найти дорогу в лабиринте местных улиц. Несколько минут спустя успокоившийся Сартр подошёл ко мне с мрачноватым видом:

– Тысяча извинений, Милан. Не знаю, что на меня нашло. Только сейчас понял, что ты это не со зла.

– Ничего, всё в порядке, – ответил я, всё ещё его побаиваясь.

Мы пожали руки, и Сартр, достав из кармана несколько купюр, крикнул в пространство, что угощает всех банановым пивом. Весь двор захлопал ему, радостно завопил, и когда прибыли канистры с урвагвой, мы все вооружились соломинками и начали пить. Вкус был мягкий и сладкий, алкоголя почти не чувствовалось. Двое майибобо притащили во двор целое ведро самсы с говядиной. Дети макали её в сосуд с перцем. Когда я попробовал тоже, перец так обжёг мне рот,

что я завизжал и запрыгал на месте. Двор, заливаясь смехом, ждал продолжения, и я, желая доказать, что я не маленький белый неженка, ещё раз наступил на те же грабли. Чтобы затушить пожар во рту, пришлось долго не отрываясь сосать через соломинку банановое пиво. Чем Сартр, разумеется, и воспользовался, попросив показать ему мой танец. Алкоголь делал своё дело, и я уже был готов на всё, когда появился Клод с первым альбомом *Rage Against the Machine*.

– У тебя такой же был тогда? – спросил он с сияющим взглядом, довольный, что нашёл в коллекции Сартра нужный диск. – Я помню горящего человека на обложке. Я помню горящего человека, – повторил он.

Когда заиграл первый трек, я, в урвагвовом хмелю, сорвал футболку и стал трясти головой в разные стороны. Поначалу все смотрели на меня странно. Тогда я толкнул плечом Клода, а он меня в ответ – с такой силой, что я растянулся на земле. Дети завизжали от смеха и бросились повторять за нами. Скоро площадка перед Дворцом превратилась в огромный слэм. Майибобо прыгали повсюду, неистово толкались, спотыкались о металлолом, падали, вставали, трясли головами, как взбесившиеся отбойные молотки. Сартр, забравшись на авокадо в одних трусах, ошалело раскачивал крону, а из динамиков Зак де ла Роча орал: "*Killing in the name of*". Мы могли бесноваться так всю ночь, если б внезапное отключение электричества не прервало наш рейв.

Возвращаясь к дому Бабули в усеянной огнями, точно но-

вогодними гирляндами, кигалийской ночи, мы с Клодом, рука об руку, словно два блаженных алкоголика, горланили луне про нашу ярость. На большом проспекте проститутки стреляли глазами в прохожих, а пьяницы мочились в канавы выпитым пивом. Добравшись до дома, мы тихонько прокрались в спальню, чтобы не разбудить Бабулю. На часах было три ночи. Я предупредил Клода, что у меня для него сюрприз, и достал из чемодана плюшевую игрушку с ярмарки – ту самую, которую так и не смог ему подарить. От изумления он раскрыл рот, и тут же всё его лицо вспыхнуло в широкой улыбке.

– Ты не забыл. Спасибо, брат, ты меня не забыл…

Он расплакался у меня на руках, дав волю давно затаённым слезам, как это умеют лишь пьяные. Мы засыпали, прижавшись друг к другу, как тогда. Братьями. Сердце во мне сочилось счастьем.

Я уже успел заснуть, как вдруг почувствовал боль. Внутри живота зрело извержение вулкана. Причину внезапного жжения подсказала кислая отрыжка с привкусом перца, мяса и бананового пива. Снаружи была непроглядная ночь, рядом шумно посапывал Клод. Я собрал все свои силы, спрыгнул с кровати и стрелой пересёк двор на подкашивающихся ногах, содрогаясь от спазмов и обливаясь холодным потом. Я был на грани обморока. А через секунду нырнул с головой в иное измерение, новое пространство-время. В следующие часы я узнал, что после определённого балла по магни-

туде диарея может переходить в метафизический опыт. Когда я, со штанами на щиколотках, из последних сил опорожнял своё тело, нужник в Бабулином дворе, который раньше казался мне худшим местом в мире, стал убежищем, дружественным уголком, коконом, спасшим той ночью мою жизнь, дав исторгнуть из себя всех бесов.

9

Мама всё не возвращалась. Я часто бродил по району один, у меня появились свои ориентиры. Дни я проводил во Дворце, где открывал для себя пластинки со всего мира, резался в карты с детьми и учился у Сартра играть в игисоро. Иногда забредал в спортивный клуб "Рафики", попинать мяч или покидать его в корзину, смотрел вместе с Клодом индийские фильмы в кинотеатре "Майака", ходил с Жозефиной на рынок, а с Бабулей в церковь. Меня больше не смущали взгляды прохожих, я перестал их замечать. Дальше нашего района я не забредал. Кигали сводился для меня к Ньямирамбо. Ньямирамбо – это и был Кигали.

Из ларька на углу можно было звонить. Однажды я потратил последние руандийские франки на звонок Надеж. Она удивилась, когда услышала мой голос, и, вскрикнув от радости, засыпала меня вопросами:

– Ну? Как ты там? Давай рассказывай!

– В общем, с утра мы ездим в саванну охотиться на львов,

после обеда плаваем в пирогах по кишащей крокодилами реке, а вечером танцуем голышом вокруг костра под бой тамтамов.

– Ха-ха-ха… Дурачок! Не, ну а правда?

– Да особо ничего не происходит. Я тут встретил Клода, потом расскажу. Мы вместе тусим. Зависаем на районе, слушаем музло, пьём пивко, пинаем балду. Как во Франции, в общем. Первые дни дались нелегко, врать не буду, всё непривычно, пыль, жара, комары. Да ещё мать, как мы приехали, сразу пропала – надо какие-то бумажные дела утрясти на другом конце страны. Но я уже освоился.

– А как с политической обстановкой и войной?

– О, ну… Тут такое чувство, будто это уже из древней истории. Про это как-то не говорят, так что я тоже не поднимаю тему. Ну а ты как?

– Версаль – сам представляешь, скисаю от скуки. Разве что на прошлой неделе сестра мамина, ну, знаешь, которая в Мексике живёт…

– А, да, художница?

– Ага. Останавливалась у нас на несколько дней. Подарила мне фотик, полупрофессиональный, и всю неделю таскала по парижским музеям и галереям. Было зашибись! С тех пор я только и делаю, что фотографирую. Мне прямо зашло.

– Ладно, я побегу. А то чувак в ларьке, откуда звоню, показывает, чтобы я вешал трубку.

– Окей. В следующий раз с тобой поеду!

Когда я вернулся домой, Клода там не было. Я ждал его в гостиной, слушая Фелу Кути[2], пока во дворе суетилась Жозефина. Наверное, мы были ровесниками, но вся её жизнь представляла собой череду работ по дому: мыть, драить, готовить – и так по кругу. Она работала на Бабулю с Клодом семь дней в неделю, с утра до вечера, ела одна в своём углу, спала на простой циновке под навесом в глубине двора и никогда не слышала ни “спасибо”, ни “пожалуйста”, как несчастная сиротка из сказок братьев Гримм. Бабуля не купалась в золоте, так что наверняка Жозефина получала крохи. Для всех она была невидимкой. Я ничего не знал про её жизнь, а языковой барьер мешал расспросить обо всём, что меня интересовало: откуда она? где живёт её семья? как она здесь оказалась? о каком будущем мечтает? Чтобы както отблагодарить её за то, что уже много дней её заботами живу как шах, я не придумал ничего лучше, как заплатить ей за труд. Я вернулся в комнату и пересчитал деньги. У меня оставалось ещё триста французских франков, так что я решил пойти обменять их у Деды.

[2] Фела Кути (1935–1997) – нигерийский музыкант, один из основателей жанра афробит, сложного слияния джаза, фанка, ганского и нигерийского хайлайфа, психоделического рока и традиционных западноафриканских песен и ритмов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.